

ИЗ ДНЕВНИКА

(1918—1921)

1918

14 февраля 1918. У Луначарского. Я выдаюсь с ним чуть не ежедневно... Я попросил его написать письмо Комиссару Почт и Телеграфов Прошиану¹. Он с удовольствием нащелкал на машинке, что я такой и сякой... Я к Прошиану — в Комиссариат Почт и Телеграфов... На почте все разнуздано. Ходят белообрывые девицы, горнично-кондукторского типа, щелкают каблучками и щебечут, поглядывая на себя в каждое оконное стекло (вместо зеркала). Никто не работает, кроме самого Прошиана...

15 октября, вторн. (1918). Вчера повестка от Луначарского — прийти в три часа в Комиссариат Просвещения на совещание: взял Кольку и Лидку — айда! В Комиссариате — в той самой комнате, где заседали Кассо, Боголепов, гр. Д. Толстой² — сидят тов. Беззалько, тов. Кириллов (поэты Пролеткульта), Лунач. нет. Коля и Лидка садятся с ними. Некий Оцуп³, тут же прочитавший мне плохие свои стихи о Марате и предложивший (очень дешево!) крупу. Ждем. Явился Лунач., и сейчас же к нему депутация профессоров — очень мямлящая. Лунач. с ними мягок и нежен. Они доямлялись до того, что их освободили от уплотнения, от всего. Любопытно, как ехидничали на их счет Пролеткультцы. По хамски: «Эге, хлопчучт о своей шкуре». — «Смотри, тот закрывает форточку — боится гишпанской болезни». Они ходят по кабинету Луначарского, как по собственному, выпивают десятки стаканов чаю — с огромными кусками карамели — вообще ведут себя вызывающе-спокойно (в стиле Маяковского)... Добро бы они б[ыли] талантливы, но Колька подошел ко мне в ужасе: папа, если б ты знал, какие бездарные стихи у Кириллова! — я смутно вспомнил что-то Бальмонтское. Отпустив профессоров, Лунач. пригласил всех нас к общему большому столу — и сказал речь — очень остроумную, и мило-легкомысленную.

Тов. Ионов⁴ издает Жан Кристофа, в то время к[а]к все эти книги должен бы издавать Горький в иностр. библиотеке. И не то жалко, что эти мало компетентные люди тратят народные деньги на бездарных писак — жалко, что они тратят бумагу, на к-рой можно было бы напечатать деньги. (Острота, очень оцененная Колей, который ел Л[уначарск]ого глазами).

Зин. Гиппиус написала мне милое письмо — приглашая прийти — недели две назад. Пришел днем. Дмитрий Сергеевич — согнутый дугою, неискреннее участие во мне — и просьба: свести его с Лунач.! Вот люди! Ругали меня на всех перекрестках за мой якобы-большевизм, а сами только и ждут, как бы к большевизму примазаться. Не могу ли я достать им письмо к Лордкенидзе?⁵ Не могу ли я достать им бумагу — охрану от уплотнения квартир? Не могу ли я устроить,

чтобы правительство купило у него право на воспроизведение в кино его «Павла», «Александра», и т. д. Я устроил ему все, о чем он просил, потратив на это два дня. И уверен, что чуть только дело большевиков прогорит — Мережк. первые будут клеветать на меня.

Тов. Ионов: маленький, бездарный, молниеносный, как холера, крикливый, грубый.

23 ноября. ...Во «Всемир. Лит.» видел Сологуба. Он фыркает. Зовет это учреждение «ВсеЛит» — т. е. вселить пролетариев в квартиру, и говорит, что это грабильовка. Там же был Блок. Он служит в Комиссариате просвещения по Театральной части. Жалуются, что нет времени не только для стихов, но даже для снов порядочных. Все снится служба, телефоны, казенные бумаги и т. д. «Придет Гнедич и расскажет анекдот. Потом придет другой и расскажет анекдот наоборот. Вот и день прошел». Гумилев отозвал меня в сторону и по секрету сообщил мне, что Горький обо мне «хорошо отзывался». В Гумилеве много гимназического, милого.

Вот уже 1919 год

5 января. ...Лунач. рассказал мне, что Ленин прислал в Комис. Внутр. Дел такую депешу: «С Новым Годом! Желаю, чтобы в Новом Году делали меньше глупостей, чем в прошлом».

10 марта 1919. <...> Был у меня Гумилев вчера. Говорили о Горьком. — «Помяните мое слово, Горький пойдет в монахи. В нем есть религиозный дух. Он так говорил о литературе, что я подумал: ого!» (Это мнение Гумилева выразило то, что думал и я). Потом Гумилев рассказал, что к 7 час. он должен ехать на В[асильевский] О[стров] чествовать ужином Муйжеля⁶. С персоны — 200 рублей, но можно привести с собою даму. Гумилев истратил 200 рублей, но дамы у него нет. Требуется голодный женский же. лудок! Стали мы по телефону искать дам — и наконец нашли некую совершенно незнакомую Гумилеву девицу, которую Гумилев и взял за ответчи на извозчике (50—60 р.) на В. О., накормить ужином и доставить на извозчике обратно (50—60 р.). И все за то, что она дама!

Очень мало в городе керосину. Почти нет меду. Должно быть потому Кооператив Журналистов выдает нам мед с примесяю керосина.

1 апреля, т.-е. 19 марта, т.-е. мое рождение... Вчера с Мережк[овск]им у меня б[ыл] длинный разговор. Началось с того, что Гумилев сказал Мережковскому: у вас там в романе⁷ Бестужев — штабс-капитан. — Да, да. — Но ведь Бестужев б[ыл] кавалерист и штабс-капитанов в кавалерии нету. Он был штаб-ротмистр. — Мережковский смутился. Я подсел к нему и спросил: почему у вас Голицын цитирует Бальмонта: «Мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить». Разве это Бальмонт? — Ну да. Потом я похвалил конст-

рукцию романа, которая гораздо отчетливее и целомудреннее, чем в других вещах Мережковского и сказал: это, должно быть, оттого, что вы писали роман против самодержавия, а потом самодерж. рухнуло — и вот вы вычеркнули всю философско-религиозную отсебятину. Он сказал: «да, да!» и прибавил: а в последних главах я даже намекнул, что народо-власти тоже — дьявольщина. Я писал роман об одном — оказалось другое — и (он рассмеялся невинно) пришлось писать наоборот...

9 июля. Был сегодня у Мережковского. Он повел меня в темную комнату, посадил на диванчик и сказал:

— Надо послать Луначарскому телеграмму о том, что «Мережковский умирает с голоду. Требуется, чтобы у него купили его сочинения. Деньги нужны до зарезу».

Между тем не прошло и двух недель, как я дал Мережковскому пятьдесят шесть тысяч, полученных им от большевиков за «Александра» да двадцать тысяч, полученных Зинаидой Н. Гиппиус. Итого 76 тысяч эти люди получили две недели назад. И теперь он готов унижаться и симулировать бедность, чтобы выцара[па]ть еще тысяч сто.

Сегодня Шкловский написал обо мне фельетон — о моей лекции про «Технику некрасовской лирики». Но мне лень даже развернуть газету: голод, смерть, не до того.

6 ноября. Первый зимний (солнечный) день. В такие дни особенно прекрасны дымки из труб. Но теперь — ни одного дыма: никто не топит. Сейчас был у меня Мережковский — второй раз. Он хочет, чтобы я похлопотал за него пред Ионовым, чтобы тот купил у него «Трилогию», которая уже продана Мережковским Гржебину. Вопреки обычаю, Мережк. произвел на этот раз отличное впечатление. Я прочитал ему статейку об Андрееве — ему она не понравилась, и он очень интересно говорил о ней. Он говорил, что Андреев все же не плевел, что в нем был туман, а туман вечнее гранита, он убеждал меня написать о том, что Андреев был писатель метафизический, — хоть и дрянь, а метафизик. Мережковский увлекся, встал (в шубе) с диванчика — и глаза у него заблестели наивно, живо. Это бывает очень редко. Марья Борисовна предложила ему пирожка, он попросил бумажку, и вернулся — и понес Зинаиде Николаевне. Публичная Библиотека купила у него рукопись «14 декабря» за 15.000 рублей. Говорил Мережковский о том, что Андреев гораздо выше Горького, ибо Горький не чувствует мира, не чувствует вечноности, не чувствует Бога. Горький — высшая и страшная пошлость.

7 ноября. Был у Гумилева. Гумилев очень любит звать к себе на обед, на чай, но не потому, что он хочет угостить, а потому, что ему нравится торжественность трапезования: он сажает гостя на почетное место, церемонно ухаживает за



Рисунок Н. Андреева. 1923 г.

его женой, все чинно и благолепно, а тарелки могут быть хоть пустые. Он любит во всем истовость, форму, порядок. Это в нем очень мило. Мы мечтали с ним о том, как бы уехать на Майорку. «Ведь от Майорки всюду близко — рукой подать!» — говорил он. — И Австралия, и Южная Америка, и Испания!»

11 ноября. ...По моей инициативе был возбужден вопрос о питании членов литератур. коллегии. Никаких денег не хватает — нужен хлеб. Нам нужно собраться и выяснить, что делать. Горький откликнулся на эту тему и говорил с аппетитом. — «Да, да! Нужно, черт возьми, чтобы они либо кормили, либо — пускай отпустят границу. Раз они так немощны, что ни согреть, ни накормить не в силах. Ведь вот сейчас — оказывается, в тюрьме лучше, чем на воле: я сейчас хлопотал о сидящих на Шпалерной, их выпустили, а они не хотят уходить: и теплее и сытнее! А провизия есть... есть... Это я знаю наверное... есть... в Смоленском куча... икры — целые бочки — в Петербурге жить можно... Можно... Вчера у меня одна баба из С[моленского] была... там они все это жрут, но есть такие, которые жрут со стыдом...» и все в таком роде. <...>

17 ноября. Воскресение. Был у меня Гумилев: принес от Анны Николаевны (своей жены) 1/2 фунта крупы — в подарок — из Бежецка. Говорит, что дров никаких: топили шкафом, но шкаф дал мало жару. Я дал ему займы 36 полен. Он увез их на Бобиных санях. — Был Мережковский. Жалуются, хочет уехать из Питера. Шуба у него — изумительная. Высокие калоши. Шапка соболья. Говорили о Горьком. «Горький двурешник: вот такой же, как Суворин. Он азефствует искренне. Когда он с нами — он наш. Когда он с ними — он ихний. Таковы талантливые русские люди. Он искренен и там и здесь». С Мережковским мы ходили в «Колос» — там читал Блок — свой доклад о музыкальности и цивилизации, который я уже слышал. Впечатление жалкое. Носы у всех красные, в комнате холод, Блок — в фуфайке, при всяком слове у него изо рта — пар. Несчастные, обглоданные люди — слушают о том, что у нас было слишком много цивилизации, что мы погибли от цивилизации. Видал я Сюннерберга, Из[анова] — Разумника — все какие-то бывшие люди.

30 ноября. ...Устраиваю библиотеку для

«Дома Искусств». С этой целью был вчера с Колей в Книжном Фонде — ах, как там холодно, хламно, безнадежно. Конфискованные книги, сваленные в глупую кучу, по которой бродит, как птица, озябшая девственница — и клюет — там книжку, здесь книжку, и складывает в другую кучу. Она в валенках, в пальто, в перчатках. Начальник девицы — Иван Иванович, в запачканной летней шляпе, (Фетровой с полями) с красным носиком — медленный и кажется очень честный. Когда я спросил, не найдется ли у них для Студии Потехина или Веселовский, он сказал:

— Нашелся бы, если бы Алексей Павлович не интересовался этими книгами. Алексей Павлович (Кудрявцев), Комиссар Библиотечной Комиссии — вор и пьяница — я сам видел, как в книжной лавке на Литейной какой-то букинист совал ему из-за прилавка бутылку; у меня Кудрявцев зажил сахар — на два дня и до сих пор не отдал. Те книги, которыми он интересуется, попадают к нему — в его собственную библиотеку. В Фонде порядки странные. Книги там складываются по алфавиту — и если какая-нб. частная библиотека просит книги, ей дают какую-нибудь букву. Я сам слышал, как там говорили:

— Дай пекарям букву Г. Это значит, что библиотека пекарей получит Григоровича, Григорьева, Герцена, Гончарова, Гербеля — но не Пушкина, не Толстого. Я подумал: спасибо, что не Фиту.

11 декабря. Был Мережковский. Он в будничной четв. едет вон из Петербурга — помолодел, подтянулся, горит, шепчет, говорит вдохновенно: «все, все устроено до ниточки, мы жидов подкупили, мы... А Дмитрий Влад. — бездарный, он нас погубит, у него походка белогвардейская... А тов. Каплун дал мне паек — прекусный — хотя и сахар и хлеб — но хочешь, чтобы я читал красноармейцам о Гоголе...» Я спросил: Почему же и не читать? Ведь полезно, чтобы красноармейцы знали о Гоголе. — «Нет, нет, вы положительно волна... Я вам напишу...» Ведь не могу же я сказать красноармейцам о Гоголе-христианине... а без этого какой же Гоголь? Тут подошел Немирович-Данченко и спросил Мережк. в упор, громко: Ну что? Когда вы едете? Тот засуетился... Тш... тш... Никуда я не еду! Разве можно при людях! Немирович отошел прочь.

— Видите, старик тоже хочет к нам примазаться. Ни за что... Боже сохрани. У нас теперь обратная конспирация: никто не верит, что мы едем! Мы столько всем говорили, болтали, что уже никто не верит... Ну если не удастся, мы вернемся, и я пуцусь во все тяжкие. Буду лекции читать — Пол и религия — «Тайна двоих» — не дурно ведь заглавие? а? Это как раз то, что им нужно...

15 декабря. ...Был вчера на «Конференции Пролетарских Поэтов», к-рых, видит Бог, я в идее люблю. Но в натуре это было так пошло, непреходимо нагло, что я демонстративно ушел — хотя имел право на обед, хлеб и чай. Ну его к черту с обедом! Вышел какой-то дубиноподобный мужчина (из породы Степанов — похож на вышибалу; такие также бывают корректора, земские статистики) и стал гвоздить: буржуазный актер не по-

нимат наших страданий, не знает наших печалей и радостей — он нам только вреден (это Шаляпин-то вреден); мы должны сами создать актеров, и они есть, товарищи, я, например...» А сам бездарен, как голенище. И все эти бездарности, пошлые фразеры, кропатели казенных клише аплодировали. Это было им по натуре. Подумать, что у этих людей был Серов, Чехов, Блок.

1920

2 января. Две недели полуболен, полусплю. Жизнь моя стала фантастическая. Так как ни писания, ни заседания никаких средств к жизни не дают, я сделался перипатетиком: бегу по комиссарам и ловлю паёк. Иногда мне из милости подарят селедку, коробку спичек, фунт хлеба — я не ощущаю никакого унижения, и всегда бегу на Манежный, к птенцам, ныряя на плече добычу. Источники пропитания у меня такие: Каплун, Пучков, Горох и т. д. Начну с Каплуна. Это приятный — с деликатными манерами — тихим голосом, ленивыми жестами — молодой сановник. Склонен к полноте, к брюшку, к хорошей барской жизни. Обитает в покоях министра Сазонова. У него имеется сытый породистый пес, который ступает по коврам походкой своего хозяина. Со мной Каплун говорит милостиво, благовольтельно. У его дверей сидит барышня — секретарша, типичная комиссариатская тварь: тупая, самонительная, но подстать принципалу: с тем же тяготением к барству, шикку, high life'у. * Ногти у нее лощеные, на столе цветы, шубка с мягким ласковым большим воротником, и говорит она так:

— Представьте, какой ужас, — моя портниха...

Словом, еще два года — и эти пролетарии сами попросят — ресторанов, кофток, поваров, Монте-Карло, биржу и пр. и пр. Каплун предложил мне завести просветительным отделом — Театра Городской Охраны (Горохр). Это на Троицкой. Я пошел туда с Анненковым. Холод в театре звериный. На все здание — одна теллушка. Там и рабочие, и Кондрат Яковлев, и бабы — пришедшие в кооператив за провизией. Я сказал, что хочу просвещать милиционеров (и вправду хочу). Мне сказали: не беспокойтесь — жалованье вы будете получать с завтрашнего дня — а просвещать не торопитесь, и когда я сказал, что действительно, на сам[ом] деле хочу давать уроки и вообще работать — на меня воззрились с изумлением.

9 декабря. Сейчас было десять заседаний подряд...

Мережковские уехали. Провожал их на вокзал Миша Слоимский. Говорит, что их отъезд был сплошное страдание. Раньше всего толпа отделила их к разным вагонам — разделила. Они потеряли чемоданы. До последней минуты они не могли попасть в вагоны... Мережк. кричал:

— Я член совета... Я из Смольного! Но и это не помогало. Потом он взвизгнул: Шуба! — у него, очевидно, в толпе срывали шубу.

2-й день Рождества 1920 г. я провел

* Великосветской жизни (англ.).

не дома. Утром в 11 ч. побежал к Лунач., он приехал на неск. дней и остановился в Зимнем дворце; мне нужно было попасть к 11½ и потому я бежал с тяжелым портфелем. Бегу — смотрю рядом со мною краснолицая, запыхавшаяся, потная, с распущенными косами девица, в каракулем пальто, на красной подкладке. Куда она бежала, не знаю, но мы проскакали рядом с нею, как кони, до Пролеткульта. Луначарского я пригласил в Дом Искусств — он милостиво согласился. Оттуда я пошел в Дом Искусств, занимался — и вечером в 4 часа — к Горькому...

17 янв. Сейчас Боба вбежал в комнату с двумя картофелинами и размахивая ими сказал: папа, сегодня один мальчик сказал мне такие стихи: «нету хлеба — нет муки, не дают большевики. Нету хлеба — нету масла, электричество погасло». Стукнул картофелинами — и упорхнул.

20 марта. ...Вчера заседание у Гржебина — в среду. Я, Блок, Гумилев, Замятин, Лернер и Варвара Васильевна...

После заседания я (бегом, бегом) на Вас. Остр. на 11 линию — в Морской Корпус — там прочитал лекцию — и (бегом, бегом) назад — черт знает какую даль! Просветители из-под палки! Из-за пайка! О, если бы дали мне месяц — хоть раз за всю мою жизнь — просто сесть и написать то, что мне дорого, то, что я думаю! Теперь у меня есть единственный день четверг — свободный от лекций. Завтра — в Доме искусств. Послезавтра — в Управлении Советов, Каплунам. О!О!О!

10 апреля. ...Вечером того же дня — вечер Гумилева. Гумилев имел успех. Особенно аплодировали стих[отворен]ию «Бушменская космогония». Во время перерыва меня подзывает пролеткультский поэт Арский и говорит, окруженный другими пролеткультцами:

— Вы заметили? — Что? — Ну... не притворяйтесь... Вы сами понимаете, почему Гумилеву так аплодируют? — Потому что стихи очень хороши. Напишите вы такие стихи, и вам будут аплодировать... — Не притворяйтесь, К. И. Аплодируют, потому что там говорится о птице... — О какой птице? — О белой... Вот! Белая птица. Все и рады... здесь намек на Деникина.

У меня закружилась голова от такой идиотической глупости, а поэт продолжал:

— Там у Гумилева говорится: «портрет моего государя». Какого государя? Что за государь? ¹⁰ <...>

22 декабря 1920. Вчера на заседании Правления Союза писателей кто-то сообщил, что из-за недостатка бумаги около 800 книг остаются в рукописи и не доходят до читателей. Блок (весело, мне): Вот хорошо! Слава Богу! <...>

Читали на засед. «Всемирной лит.» ругательства Мережковского — против Горького ¹¹. Блок (шопотом мне): «А ведь Мережк. прав».

1921

4 января. Вчера должно было состояться первое выступление «Всемирной литературы». В виду того, что правительство относится к нам недоверчиво и небрежно, мы решили создать себе рекламу среди публики, «апеллировать к народу». Это была всецело моя затея, одобренная коллегией, и я был уверен, что эта затея отлично усвоена Горьким, которому она должна быть особенно близка. Мы решили, что Горький скажет несколько слов о деяниях Всемирной Литературы. Но случилось другое.

Начать с того, что Г[орький] прибыл в Дом Искусств очень рано. Зашел зачем-то к Шкловскому, где стоял среди комнаты — нагоняя на всех тоску. (Шкл. не было). Потом прошел ко мне. Я с Добужинским попробовали вовлечь его в обсуждение программы Народных чтений о литературе в деревне, но Горький понес такую скучную учительную чепуху, что я прекратил разговор: он говорил, напр., что Достоевского не нужно, что вместо характеристик Гоголя и Пушкин нужно дать «краткий очерк законов развития литературы». Это деревенским бабам и девкам. Потом пришел Белополюский, Горький еще больше напустился. Только с Марьей Игнатьевной Бенкендорф у него продолжался игривый и интимный разговор. Торопился он выступить ужасно. Я насилу удержал его до четверти 8-го. Публика еще собиралась. Тем не менее он пошел на эстраду, сел за стол и сказал: «Я должен говорить о всемирной литературе. Но я лучше скажу о литературе русской. Это вам ближе. Что такое была русская литература до сих пор? Белое пятно на щеке у негра, и негр не знал, хорошо это, или это болезнь... Мерили литература не ее достоинствами, а ее политич. направлением. Либералы любили только либеральную литературу, консерваторы только консервативную. Очень хорош[ий] писатель Достоевск[ий] не имел успеха потому, что не б[ыл] либералом. Смелый молодой человек Дмитрий Писарев уничтожил П[у]шк[ина]. Теперь то же самое. Писатель должен быть коммунистом. Если он коммунист, он хорош. А не коммунист — плох. Что же делать писателям не коммунистам? Они поневоле молчат. Конечно, в каждом де-

ле, как и в каждом доме, есть два выхода, парадный и черный. Можно было бы выйти на парадный ход и заявить требования, заявить протест, но — приведет ли это к каким-нб. результатам? Потому-то писатели теперь молчат, а те, к-рые пишут, это главн. обр. потомки Смердякова. Если кто хочет мне возражать — пожалуйста!

14 февраля. ...Завтра я еду вместе с Добужинским в Псковскую губернию, в имение Дома искусств Холомки, спасти свою семью и себя — от голода, который надвигается все злее. <...>

18 февраля 1921. Холомки. <...> Вообще, я на 4-м десятке открыл для себя русскую деревню, впервые увидел русского мужика. И вижу, что в основе это очень правильный жизнеспособный несокрушимый человек, которому никакие революции не страшны. Главная его сила — доброта. Я никогда не видел столько по настоящему добрых людей, — как в эти три дня. Баба подарила книжине Гагаринной валенки: на, возьми Христа ради. Сторож у Гагаринных — сейчас из Парголово. «Было у меня пуда два хлеба, солдаты просили, я и давал; всю картошку отдал, и сам стал голодать». А какой язык, какие слова. Вчера сообщали, что около белого дома — воры. Мы — туда. Добуж., княгиня, княжна, мужики — Сторож: «мы их еще теплых поймаем». Жаловались на комиссара, который отобрал коров: ведь коровы не грибы, от дождя не растут. <...> Очень забавны плакаты в городе Порхове. — В одном окошке выставлено что-то о сверхчеловеке и подписано: «Так говорил Заратустра». Заратустра в Порхове!

20 февраля. ...Сегодня видел деревенскую свадьбу. Сани шикарные, лошади сытые. Мужики и бабы в санях на подушках. Посаженный отец вел невесту и жениха, как детей, по улице. Ленты, бусы, бубенцы — крепкое предание, крепкий быт. Русь крепка и прочна: бабы рожают, попы остаются попами, князья князьями — все по-старому на глубине. Сломался только городской быт, да и то возникнет в пять минут. Никогда еще Россия, как нация, не б[ыла] так несокрушима.

30 марта. Завтра мое рождение. Сегодня все утро читал Нью-Йоркскую «Nation» и Лондонское «Nation and Athenaeum». Читал с упоением: какой культурный стиль — всемирная широта интересов. Как остроумна полемика Бернарда Шоу с Честертоном. Как язвительны статьи о Ллойд Джордже!

Новые материалы о Уоте Уитмэне! И главное: как сблизилась все части мира: англичане пишут о французах, французы откликаются, вмешиваются греки — все нации туго сплетены, цивилизация становится широкой и единой. Как будто меня вытащили из лужи и окунали в океан!

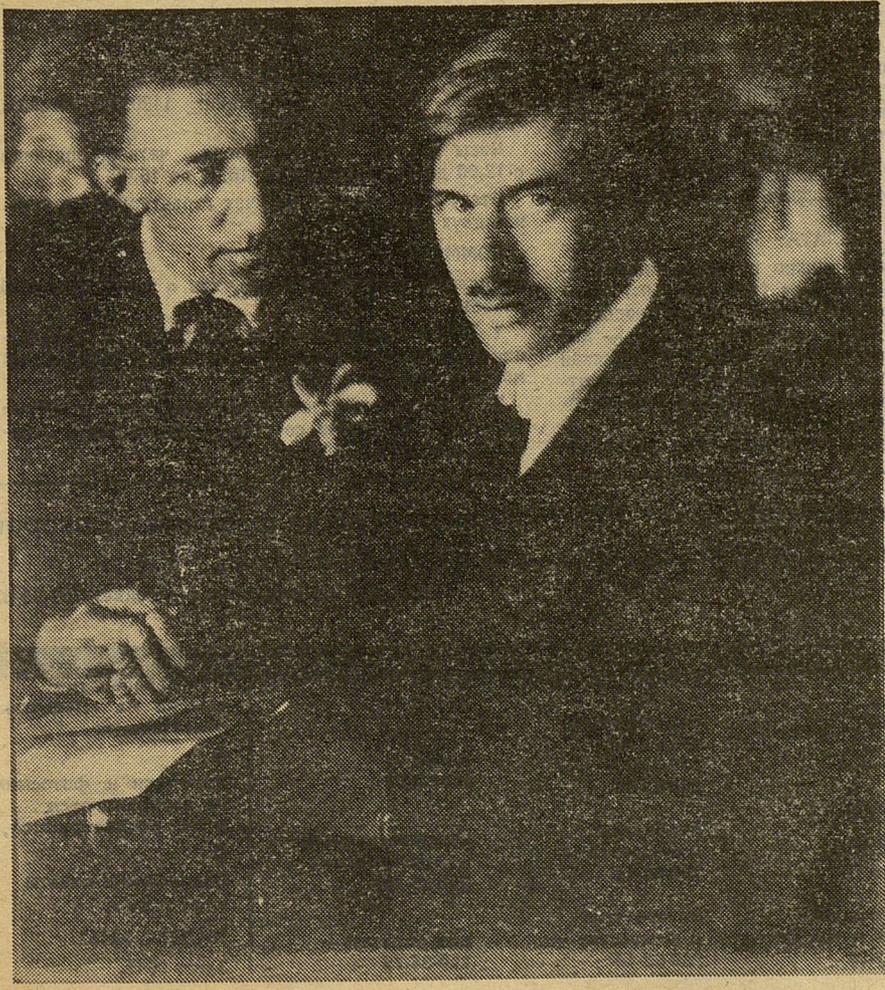
Отныне я решил не писать о Некрасове, не копаться в литературных дрязгах, а смело приобщиться к мировой литературе. Писать для «Nation» мне легче, чем для «Летописи Дома Литераторов». Буду же писать для «Nation». Первое, что я напишу, будет «Честертон».

31 марта. Я вызвал духа, которого уже не могу вернуть в склянку. Я вдруг после огромного перерыва прочитал «Times» — и весь мир нахлынул на меня.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 В дневнике часто упоминаются М. В., Мария Борисовна — жена К. И. Чуковского и его дети: Коля (р. 1904), Лида (р. 1907), Боба (р. 1910).
- 2 Прошьян Прохр Перчевич (1883—1918), член ВЦИК, нарком почт и телеграфа.
- 3 Кассо Лев Аристович (1865—1914), Боголепов Николай Павлович (1846—1901), Толстой Дмитрий Андреевич (1823—1889) — министры народного просвещения.
- 4 Оцуп Николай Авдиевич (1894—1959), поэт.
- 5 Ионов Илья Ионович (1887—1942), заведующий петроградским отделением Госиздата; брат жены Г. Е. Зиновьева.
- 6 Лордкипанидзе Зекерия Дурсунович (1892—1937, расстрелян), член ЦИК СССР.
- 7 Муйжель Виктор Васильевич (1880—1924), писатель.
- 8 Речь идет о романе Д. Мережковского «14 декабря».
- 9 Дмитрий Владимирович — Философ (1872—1940), публицист, критик.
- 10 Яковлев Кондрат Николаевич (1864—1928), артист.
- 11 Речь идет о стихотворениях Гумилева «Ламара» и «Галла».
- 12 Статья Мережковского «Открытое письмо Уэллсу» от 19 ноября 1920 г. — ответ на серию газетных статей Г. Уэллса о России. Письмо опубликовано в эмигрантской печати: «Последние новости» (Париж), 1920, № 189 и «Свобода» (Варшава), 1920, № 125. Мережковский пишет о Горьком: «...Горький будто бы спасает русскую культуру от большевистского варварства. Я одно время сам думал так: сам был обманут как вы. Но когда испытал на себе, что значит «спасение» Горького, то бежал из России. Я предпочел бы быть пойманным и расстрелянным, чем так спастись». Знаете ли, мистер Уэллс, какого пенью «спасает» Горький? Ценою оподления...»

Публикация и примечания Елены ЧУКОВСКОЙ.



● А. Блок и К. Чуковский. 25 апреля 1921 г. Петроград. Снимок М. С. Наппельбаума.